

Новая Польша 12/2000

0: ИЗ ДВУХ КНИГ

«Памфлет на самого себя»

(1995)

Я думаю о зараженных Россией. Фамилий называть не стану — это можно неправильно понять. Есть в Польше категория людей, которые соприкоснулись с Россией. Разумеется, я не говорю об агентах и ренегатах, каких развелось без счета во времена гегемонии Советского Союза. И оставляю без внимания патологический инстинкт лакейства, заискивания перед чужой силой, этого нашего мазохистского свойства, ставшего причиной гибели польской государственности.

Я имею в виду тех людей — преимущественно интеллектуалов, — которые, чаще всего в молодости, попадали в среду русской интеллигенции, увлеченной философией, общественной деятельностью или искусством. Человек в свои юные годы — период наибольшей восприимчивости — оказывался под завораживающим, истерическим, мощным влиянием склонной к анархии российской духовности.

Что в ней есть такого, что нас ослепляет и восхищает? Психологи и социологи, конечно, могли бы найти ответ, если б пожелали задуматься над этим явлением, скрывшимся за темной завесой после революции в результате возникновения государства большевиков. Ведь русофилы, бежавшие после 1918 года к себе в свободную Польшу, убегали не от России, а от революции. Их антисоветскость часто принимали за антироссийскость. А самих даже почитали образцовыми патриотами: ведь из Петербурга и Москвы они кинулись на родину.

Чем завораживает Россия бедных «привислинцев»? Не знаю. Возможно, масштабами гигантского континента. (Я где-то читал, что один свежее испеченный губернатор добирался до своей губернии полтора года и, не доехав, в дороге умер.) Возможно, сочетанием азиатского, византийского и европейского типов мышления. Возможно, экстремальностью реакций на добро и зло. Возможно, красивой манихейской фальшью, которой пропитано все российское искусство, а не только творчество Достоевского.

Зараженные Россией играли в нашей интеллектуальной жизни положительную роль. У них были открыты глаза, их взгляд не был замутнен провинциальным национализмом. Они никогда не забывали, что у нас в стране есть восточные или почти восточные национальные меньшинства. Они выступали против косной реакционности. Правда, на наши местные проблемы они взирали как бы с высоты кремлевской башни.

Кто знает, не обусловлено ли наше восхищение Россией тем, что по сути мы очень похожи на них, а они на нас. Что наши грехи в них вырастают стократ, а их высокие достоинства в нас странным образом мельчают.

Однако же эта духовная близость может оказаться для нас роковой. И не спустя столетия, а в не слишком отдаленном будущем. Мы исторгли из себя советскую Россию, чтобы припасть к России мессианской и загадочной.

Я тоже заражен Россией, то есть трагическим, сакрализированным злом.

«Восходы и закаты луны»

(Самиздатский журнал «Запис», №21, 1982)

Впервые столкнувшись с русской литературой, я вошел в ее здание точно в огромный чудесный зимний сад, знакомый мне с детства... нет, еще раньше. И сразу почувствовал: это мое. Пафос и язвительность этой литературы, ее грубость и невероятная утонченность, святость и кощунственный цинизм, божественность и хамский анархизм, поэтичность и суровая простота, ее бесстыдная фальшь и глубочайшая, беспредельная искренность, ее препротивная дидактика и поразительная многозначность, ее притворное мессианство и юмор, равного которому нет на свете, — для всего этого, для всех этих противоречий, сумасбродств, погрешностей против хорошего вкуса, красоты, разума, для всего этого, повторяю, в моем анемичной душе имелись какие-то уже готовые матрицы, непроявленные негативы; сидела во мне какая-то проклятая предрасположенность к принятию этого дьявольского наследства-не наследства, бакшиша-не бакшиша, цикуты-не цикуты.

Я — мерзкий гибрид на пограничье двух миров. На рубеже польскости и российскости. Во мне щелкает бойкими костяшками практичный разум римско-католического поляка и гуляет степной сквозняк православия. Утром я барабаню на клавикордах Иоганна-Себастьяна Баха, а вечером пьяный валяюсь в канаве. Вчера баловался силлаботоническим стихосложением, а завтра вспорю вам живот и кишками украшу памятник Костюшко. Я — выродок, балансирующий на стыке двух галактик, на той самой пограничной звезде, что горит бело и кроваво и вот-вот исторгнет пламя, сплавляя края этих галактик. Объединяя их. В единое целое.

Да, мы часто думаем о России. Россия и теперь, как в былые времена, занимает большое место в нашей жизни, точнее, в наших сердцах, умах, а также печенках. Но Россия о нас думает не часто. Вспоминает изредка с красным блеском злобы в прозрачном глазу старой чекистки. Россия держит за глотку сорок четыре народа. Ей некогда думать о каждом из них.

Да, я люблю коварную Азию в России, но ужасно тоскую по разумной Европе в России. Я падаю ниц перед Достоевским, но мечтаю о новом Чаадаеве или Амальрике. Я склоняю голову перед Солженицыным со всеми его холщевыми рубашками и портками, но сердце мое отдано Мандельштаму, хоть мы и не одной крови. Я преклоняюсь перед русским мужиком-богоносцем, но мне хотелось бы где-нибудь на прогулке повстречать Михаила Лунина, такого русского и такого нерусского декабриста.

Да, я каждый день читаю все, что говорят о России и что рассказывают о Польше, что рассказывают о моей России и говорят о моей Польше. Прекрасная, возвышенная Россия предстает мелкой и ничтожной в сравнении с Польшей, мелкая и ничтожная Польша выглядит прекрасной и возвышенной рядом с Россией. Это какое-то перетягивание каната, постромок судьбы или веревки висельника между Вартой и Волгой. Поверх головы Белоруссии, над макушкой Украины. То мы их, то они нас. С помощью Белоруссии, при содействии Украины. Через Белоруссию полонизировать, через Украину русифицировать. Почему? Зачем?

*

Из всех литератур наиболее мне близка русская. Не считая польской, конечно. Русской литературой я пропитан от плечи на темени до пят. Она звучит во мне, бормочет, гудит, как ветер в трубе. Когда по телевизору показывают никудышный советский фильм на производственную тему, я запросто просиживаю перед экраном битых два часа, а салонная французская драма со всякими там диорами, стриптизами и сартровской меланхолией надоедает мне уже через пятнадцать минут.

Половину времени, которое я уделяю чтению, занимает Россия. И такой интерес мне не обстоятельства навязали, хотя и они играют свою роль. Для меня притягательность России — в широте пространства, заключенного между полюсами великого зла и беспредельного добра. Россия — это почти целый мир. Мир человеческой боли, греха, беды. Мир человеческой порядочности, духовного родства и сентиментальной надежды.

Одна полька преклонных лет, которая родилась и провела детство и юность в Петербурге, говоря о нравах тогдашнего общества, едва ли не с гордостью добавляет: у нас дома из русских бывал только почтальон. А Антоний Слонимский рассказывал мне, что, когда его дядя, полковник царской армии, собирался навестить свояченицу, то есть маму Антония, он вначале заходил к дворнику, дабы убедиться, что доктора Слонимского нет дома, и лишь тогда, крадучись, по черной лестнице, поднимался наверх.

Русские тоже брезговали всем польским. Достаточно почитать Достоевского; полонофобия писателя, возможно, подогревалась его якобы польским происхождением. Не дай бог, если поляк отречется от своей нации. Более качественного ренегата днем с огнем не сыскать.

В XIX веке русские терпеть не могли поляков. Наша история, традиции, религия, ментальность и психологические особенности вызывали у русских искреннее отвращение. Польское всегда было трепным. Польское распознавалось издали, за сто верст, за семью стенами и семью запорами.

И вот наконец во второй половине XX века смекалистая советская власть придумала, как с этой польскостью поступить. Вместо того чтобы ею гнушаться и от нее отмежевываться, лучше ее захватить и перемешать с российской субстанцией, превратить в региональное российское явление. Шлюзами в этом процессе послужили Белоруссия и Украина. В белорусских и украинских декомпрессионных камерах польскость выветривается, утрачивает свою латинскость, блекнет, теряя западный дух, и перестает быть польской. Она постепенно приобретает белорусские формы, православную окраску и начинает издавать московские звуки. И тогда — вполне уже белорусская, а фактически полурусская — может быть брошена в плавильный котел истинной российскости, промеж жерновов всея Руси, в купель нового Израиля.

Незаметно имя Станислав стало распространенным московским именем. Незаметно Сераковский, Семирадский, Томаш Зан, Аполлинарий Контский и даже Мельхиор Ванькович обосновались в белорусском зале российского Пантеона. Ни с того, ни с сего восстание 1831 года превратилось в бунт российских просвещенных сословий, а восстание 1863 года — в буржуазную революцию либеральной российской интеллигенции с центрами в Москве и Петербурге, а также в западных губерниях; очаги этой революции попадались — констатирует добросовестный советский историк — даже в «исконной Польше». А наш танец «краковяк» вдруг оказался провинциальной разновидностью «казачка».

Кое-кто из советских журналистов, например, любит при случае с особым удовольствием сообщить, что ленинградское НКВД возглавляет генерал Костюшко. Им смешно, что вождем ленинского комсомола в Рязани является некий товарищ Пилсудский, а на плоту с Хейердалом плавает Сенкевич. А также кажется забавным, что один из аферистов, проходящих по так называемому «рыбному делу», — А.Мицкевич.

Я твердо убежден, что где-то в Мордовии живет и что-то там сочиняет местный литератор Тадеуш Конвицкий; как раз сейчас он трудится над книгой, для которой уже придумал название: «Последний листок календаря». И в один прекрасный день он заменит меня на моем посту польского литератора, будто отработавшего свою смену водителя такси. Возможно, мудрая, хоть и изрядно уже помятая большевиками Россия вдруг возьмет да подменит измученную, вялую, плесневеющую Польшу новой Польшей — свежей, бодрой, не один год заботливо пестуемой где-то в глубине этого удивительного континента, отечества истинного греха и поддельной святости.

У меня нет друзей среди русских, но и среди поляков немного. Так что я не напишу рифмованной апострофы ни к друзьям-москалям, ни к друзьям-полячишкам. А ведь я мог бы стать русским. Если бы не уехал из Вильно. Если бы там остался и через чистилище Белоруссии вознесся в российский рай. И писал бы теперь на языке Пушкина и Гоголя о прелестях колхозной жизни.

Мое первое путешествие в Россию зимой 52/53 года было ужасным. Снежные завалы еще не европеизированной совдепии, разгар сталинизма, канун дела врачей... Мы ехали то ли с севера на юг, то ли с юга на север в литературной кибитке, под неусыпным присмотром охранников в мундирах писателей. (...)

Раньше я знал только окраину страны, ее дальний угол. А теперь увидел Россию во всей ее бескрайности, как бесконечную прямую. И меня восхитили ее размеры, масштаб, вместительность. И люди с их судьбами, с их великолепной нищетой и жалким величием. Нет, неверно — с их величием, от которого дух захватывает, и поистине безмерным ничтожеством. Мне то и дело становилось обидно: ну почему мы такие практичные, предусмотрительные, благоразумные, логичные, прилично живущие, европейские? Я завидовал безумию русских, их жестокому Богу и лагерям.

Но ведь у нас тоже мозги набекрень. Многовековое соседство не прошло для нас даром. Нет уже европейской Польши Пястов, которая, вероятно, мало чем отличалась от Саксонии или Моравии. Нынешняя Польша — вместилище недостатков, пороков и увечий, заимствованных у братьев из Великого Княжества Литовского и Малороссии. Нынешняя Польша — это пирамида грехов и легкомыслия аристократии и шляхты с наших восточных окраин. Нынешняя Польша — это не Польша. Это нечто совсем иное, только именующееся Польшей. Но мы любим это «нечто», мы к нему привязаны и готовы биться за него до последней капли крови.

*

Вспоминается еще один визит в Москву. Я был приглашен на симпозиум сценаристов; в качестве охранной грамоты привез с собой свой фильм «Как далеко отсюда, как близко». Принимали меня вежливо, но прохладно. Показ моего творения устроили в восемь утра для узкого круга из двадцати человек. Но там ко мне бочком, незаметно подошел какой-то молодой человек и пригласил на встречу в заводской кино клуб.

Я поддался искушению. На завод мы поехали на такси. В большом зале толпа людей. Неофициальный кино клуб. Нелегальное общество любителей кино. Старики, молодежь, рабочие, университетские профессора, красивые женщины, энергичные мужчины. Какую занять позицию? Выступить в роли покорного слуги зрителей или высокомерного интеллектуала с прекрасного Запада? Назойливо подчеркивать свою скромность или хвастаться творческой свободой и какой-то там наградой, подцепленной в Пернамбуко? Разговаривать как равный с равными или снисходительно похлопывать по плечу?

«О чем мы будем говорить?» — спрашиваю тихонько своего гида. — О ваших фильмах, — отвечает молодой человек в яркой рубашке. — «Да вы же мой последний фильм не видели». — Видели, я четыре раза смотрел. — «Не может такого быть, — говорю, — в прошлый раз фильм всего четыре часа пробыл в посольстве. Посол,

некий товарищ Новак, посмотрев его, приказал немедленно отвезти в аэропорт». — Но по дороге, — усмехается мой покровитель, — по дороге мы организовали для себя сеанс.

Ну и начался разговор — я аж вспотел от волнения. Это была самая интересная дискуссия о современном кино, в какой мне когда-либо доводилось участвовать. Публика в корне отличалась от той, которая в былые времена была окна в кинотеатрах, чтобы попасть на любую польскую халтуру. Передо мной был блестящий, образованный, остроумный, прекрасно разбирающийся в искусстве, требовательный зритель высокого европейского класса. Он вовсе не спешил восторгаться фильмом только потому, что фильм был польский. Какое там — собравшиеся в зале измывались над нашими классиками, без труда распознавали блеф, дешевку, мошенничество, конъюнктурщину и желание добиться успеха любой ценой. Не скажу, что мне было неприятно присутствовать при этой вивисекции нашего киноискусства. Правда, я дрожал от страха, что сейчас примутся за меня и сотрут в порошок, но вместе с тем ощущал какую-то странную бодрящую радость от того, что есть еще на свете люди с неразмягченными мозгами, незатертыми суждениями, невылинявшими вкусами и нерастерянными критериями. Опасаясь за свою голову, я одновременно наслаждался общением с людьми, отмеченными печатью возвышенности — в гомбровичевском смысле, той возвышенности, которой я на старости лет, утопая в океане низменности, начинаю бить поклоны. Бью поклоны я, разумеется, так, как это может делать человек тонущий. А вообще, отцепитесь от моей стилистики — я добиваюсь функциональности, логичности и эмоциональной выразительности. Такая стилистика сейчас ко двору, такой требуют массы. Массы моих недалеких почитателей.

Итак, я мечтал, чтобы вечер, на который я попал по своему легкомыслию, поскорей закончился. А он все тянулся и тянулся и затянулся далеко за полночь. Меня препарировали как на секционном столе. Каждую косточку отдельно, каждое сухожилие отдельно. Припомнили все, что я когда-либо где-либо сказал или написал о кино как об искусстве. Пару раз надо мной сгущались тучи, казалось, что я вот-вот получу оплеуху или пинок под зад, но всякий раз напряжение, вроде бы отрицательное, разряжалось простейшим катарсисом, ибо в первую очередь моих собеседников интересовало искусство кино, принципиальная трактовка гуманистических ценностей и не меньше моего им хотелось простых радостей общения с живым, авторским, умным кинематографом.

И внезапно я понял, что в этом довольно-таки неприглядном зале сидят мои сестры и братья. Что благодаря именно таким людям я еще не повесился, тоскуя на морском пляже или мерзкой гнилой зимой, что благодаря этим русским, а может, грузинам или узбекам, я еще пишу книги и время от времени хватаюсь за кинокамеру. Неизвестно зачем.

«Памфлет на самого себя»

Встреча российских и польских литераторов в старинной усадьбе под Варшавой. Российские коллеги впервые слышат правду о том, какой видится их страна Польше и Западу. И хотя у себя на родине они диссиденты, но привыкли думать, что советские люди — любимцы всего мира. Государства-сателлиты так долго курили фимиам всему российскому, что даже у этих умных и порядочных людей в головах кое-что сместилось. Ну и в лагере наших московских коллег мы наблюдаем некоторую растерянность. Неприятную ситуацию нужно как-то разрядить. То есть вечером, в неофициальной обстановке, выпить огненной воды.

Это бремя я беру на себя. Мне такое по силам. Усаживаюсь с друзьями-москалями за стол. Открываем одну бутылку, вторую, третью.

А потом я вижу, что ничего не вижу. Тьма и клиническая смерть.

Наутро просыпаюсь, в тревоге осматриваюсь. Все в порядке. Костюм висит в шкафу, башмаки чинно стоят возле кровати, а я лежу, аккуратно прикрытый одеяльцем.

Усердно привожу себя в чувство и постепенно возвращаюсь к жизни. Спускаюсь к завтраку. Подсаживаюсь к своим слабакам соплеменникам.

— Задал я русским жару, а? Но потом пленка оборвалась, — бросаю небрежно.

— Да. Ты свалился со стула, и наши гости отнесли тебя в твою комнату, уложили в постель, а потом вернулись и только тут начали пить.

«Восходы и закаты луны»

Ex oriente lux. Дорогие братья россияне. Не буду распинаться в том, как я вас уважаю и люблю, как вами восхищаюсь. Это и так по мне видно. По тому, как я думаю, как чувствую, как пишу.

Милые мои братики. Пора, самое время, последний звонок. Надо европеизироваться, то есть очеловечиваться. Надо очеловечиваться, то есть избавляться от животных свойств. Избавляться от животных свойств, то есть уважать законы, данные Богом. Конец двадцатого века. Летайте в космос. Заглядывайте в глаза Господу Богу.

Нельзя хныкать, жаловаться и кланяться помощи у цивилизованного мира. В семнадцатом году грузины, латыши, евреи и поляки — все ваши невольники — устроили вам революцию, избавили от тирании царя. Следующую революцию вы должны совершить сами и одним прыжком догнать цивилизованное человечество. Дорогие наши близнецы, потерянные на византийском кладбище, на кургане Чингисхана.

Еще раз затянутое дымкой солнце восходит на востоке. Еще раз. Но, возможно, уже последний. Ex oriente lux.

Как скверно это написано. Без экспрессии, непродуманно, топорно. Правильная апострофа в неправильной форме. Так часто бывает. И никого мой призыв не убедит. Даже меня самого.

А я часто думаю о русских, о России. Гораздо чаще, чем русские думают о нас — если вообще думают, если не ограничиваются инстинктивным раздражением или досадой.

Формирование моей личности — если можно так сказать — связано с польско-российскими отношениями, с их проблемами. Россия меня интригует, поражает, восхищает. Россия притягивает меня и затягивает в какую-то пучину обид, восторгов, неприязни и стихийных симпатий.

Про наши общие проблемы — было бы желание! — можно написать целые тома. А я попытался в нескольких фразах. Злобно, во внезапном порыве гнева. Потому и не вышло. Потому косноязычно. Потому кое-как.

О Россия — милая и грозная. Россия богоносцев и азефов. Россия — в сермяжной рубахе до колен бредущая с Божьей миссией на Запад, и Россия, летающая в космосе с атомной бомбой. Россия, Россия...

1: ЗАРАЖЕННЫЙ РОССИЕЙ

Тадеуш Конвицкий. Писатель, кинорежиссер, сценарист. Блестящий, парадоксальный, язвительный и лирический, загадочный и пронзительно ясный. Читая Конвицкого, не устаешь восхищаться его нетускнеющим мастерством и безграничной изобретательностью. Называемый «писателем одной темы», автором, чьи романы «так или иначе связаны с его собственной биографией», он в этой своей монотематичности необыкновенно разнообразен и не перестает удивлять читателя. Которого он, автор, любит, но над которым непрочь подшутить, догадливость и умственные способности которого подчас исподтишка подвергает проверке. Кажется, он с интересом следит за всяким, кто берется за его книги, сам оставаясь незамеченным или неузнанным — толь в толь как в кадрах снятого по его роману Анджеем Вайдой фильма «Хроника любовных происшествий», где Конвицкий играет себя, всевидящего и всезнающего, присутствующего одновременно «там и тогда» и «здесь и сейчас». И читатель охотно включается в предложенную ему игру, перескакивает, следуя за автором, из одного пласта действительности в другой, не совпадающий с предыдущим по времени, и картина в результате открывается объемная, живая, яркая. Конвицкий — один из лучших современных писателей Польши; очень польский писатель, он при этом очень близок русскому читателю, очень тесно связан с русской культурой. К счастью, в России его знают — хуже, чем он того заслуживает, но все же лучше, чем некоторых других, не менее достойных его собратьев по перу.

Тадеуш Конвицкий — часть моей переводческой биографии. Впервые он «заговорил» со мной по-русски. В 1966 году — я только недавно научилась читать по-польски и делала робкие попытки переводить небольшие рассказы — в московском издательстве вышел «Современный сонник». Я, можно сказать, присутствовала при его создании: это была последняя, опубликованная за четыре месяца до смерти работа моей тети и учительницы Юлии Мирской, замечательного человека и великолепного переводчика, хорошо известной и любимой в Польше, на своей родине (она и ее сестра, моя мама, родились в Лодзи, откуда семью заставила уехать в Москву I Мировая война). Прочитав «Сонник» на русском языке, я перечитала его по-польски. И с тех пор не пропускала уже ни одной книги Конвицкого, а потом сама стала его переводить. Но это случилось уже много позже. Долгое время Конвицкий в СССР был *persona non grata*: во второй половине 60 х он вместе с другими польскими литераторами попал в «черный» список, около двадцати последующих лет не только не сокращавшийся, но постоянно расширявшийся, в частности благодаря усердному «сотрудничеству» с нашими идеологами и цензорами польских чиновников от культуры, да и кое-каких писателей, ретиво служивших режиму. Внесение в этот список Конвицкого было более чем оправдано: он позволил себе роскошь инакомыслия и не пожелал это скрывать. Вышел из партии (1966 год). Вместе с другими деятелями культуры подписывал письма протеста. Выступил в защиту взбунтовавшейся молодежи в марте 68 го и против «дружественной агрессии» в

Чехословакию в августе. Писал что хотел (в том числе «пасквили» на коммунистического соседа — «Польский комплекс» — и на собственные власти — «Малый апокалипсис») и издавался в «самиздате». В результате Конвицкий выпал из круга чтения русского книголюбца. Не лучше обстояло дело и с его фильмами. В прокате их не было, однако время от времени они все же просачивались на экраны. В 60-70-е годы киноманы бегали в «Иллюзион» и на ночные сеансы в кино клубы, где тайно крутили добытую ненадолго копию того или иного фильма. Так немногим счастливым удалось посмотреть «Последний день лета», «День поминания», «Сальто» со Збигневом Цыбульским, «Как далеко отсюда, как близко» с Густавом Холоубеком. И только в 89-м киноверсия «Дзядов» Мицкевича «Лава» была допущена на Московский кинофестиваль, где получила главный приз; на широкий экран она, впрочем, не вышла.

Доступ к прозе Конвицкого в России открылся с перестройкой. Первой ласточкой стал «Малый апокалипсис», опубликованный в журнале «Искусство кино» осенью 1991-го в переводе Андрея Ермонского; за ним последовала «Бохинь» — эту повесть я перевела в 1991-го для журнала «Дружба народов». Хорошо помню день, когда я закончила читать корректуру: было это 21 августа — утром мы узнали, что в нашей стране произошел путч. По дороге к Белому дому, куда — «на защиту свободы и демократии» — устремились тысячи москвичей, я заехала на Поварскую в редакцию. «Неужели опоздали, неужели все кончено?» — спросила я, отдавая корректуру, у тогдашнего заведомо прозы, критика и литературоведа Александра Архангельского. Ответом были оказавшиеся пророческими слова: «Чепуха, через три дня от „этих“ следа не останется, обратно нас не повернут».

Первые годы перестройки открыли перед нами, переводчиками, ошеломительную, долгожданную возможность: теперь ничто не мешало печатать лучшее, что есть в польской литературе. В своем вступлении к «Бохини» я тогда написала: «И вот настали новые времена. Мы наверстываем упущенное, стираем белые пятна на страницах истории, заполняем пробелы в культуре». И действительно, кое-что удалось, вернее, кое-что мы успели сделать. «Успели» — потому что благоприятные для польской словесности времена довольно быстро закончились. Польша перестала быть «окном в Европу», каковой была в унылые времена застоя. На книжные прилавки хлынула запретная прежде литература других народов мира, далеко не всегда первоклассная. Свобода пьянила издателей; кто-то спешил наверстать упущенное, заполнить поистине вопиющие пробелы, но кто-то, заботясь прежде всего о материальной выгоде, накинудся на «массовую» — раньше тоже недоступную — литературу. (Иные издатели оправдывали свои отнюдь не изысканные пристрастия тем, что они намерены, выпуская ширпотреб, заработать деньги, а затем переключиться на «высококачественный товар», однако чаще всего до этого дело не доходило.) И польская литература оказалась вытесненной на обочину российского книжного рынка. Присутствие польских авторов на этом рынке в середине 90-х резко сократилось; правда, мои коллеги-переводчики не складывают оружия и время от времени «пробивают» замечательные книги — к сожалению, гораздо реже, чем всем нам бы того хотелось.

На этом безрадостном фоне положение Конвицкого не столь уж и плохо. За журнальными публикациями последовал однотомник (1995), в который, кроме «Бохини» и «Малого апокалипсиса», вошла еще «Хроника любовных происшествий» (перевод М.Игнатова). Потом были еще две публикации. Для серии «Школьный роман-газета» у меня взяли долго пролежавший в столе «Зверчеловекоморок» — одну из самых удивительных книг Конвицкого, в которой автор, насмешник и любитель задавать загадки, повернулся неожиданной стороной, открыв свою нежную душу. Еще один роман — «Чтиво» — я предложила журналу «Иностранная литература», где он и был напечатан в 1996-го. Роман этот идеально подошел для рубрики «Литературный гид» с подзаголовком «КИЧ, или К Интеллектуальному Чтиву». В этом Литгиде «Чтиво» соседствует с «Макулатурой» американца Чарльза Буковски и двумя статьями: Алексея Михеева «МакКультура» и Петра Вайля «Похвальное слово штампу, или Родная кровь» (о фильме Квентина Тарантино «Pulp Fiction»).

Пока знакомство российского читателя с Конвицким-прозаиком этим ограничилось. Будем надеяться, что временно. Буквально в последние месяцы стали заметны новые тенденции нашего книжного рынка: «серьезная» литература понемножку начинает теснить литературу развлекательную, в ряды переводной англоязычной классики там и сям встречаются переводы со славянских языков. Как-то разом несколько издательств заинтересовались знаменитыми поляками — Гомбровичем, Виткевичем, Мрожеком, Милошем. Очень хочется верить, что вскоре рядом появится имя Конвицкого. И не только как автора романов — должен наконец прийти черед его книгам, жанр которых трудно определить точно: автобиографическая эссеистика? воспоминания? размышления?.. Пока же я хочу предложить читателям «Новой Польши» несколько фрагментов двух таких книг — в подтверждение слов, вынесенных в заголовок.

2: ПОЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС

«Пристрастно» цитируя Конвицкого, просто невозможно обойтись без «Польского комплекса», в котором русская нота звучит, пожалуй, громче, чем в других его романах. Впервые «Комплекс» вышел в 1977 г. в «Записе» — подпольном журнале, «посвященном проблемам интеллектуальной и художественной свободы во всем мире и публикующем произведения писателей, преследуемых цензурой в своих странах»; о публикации в государственном издательстве тогда нечего было и думать, ведь речь шла о польских комплексах, рожденных почти двухсотлетним тесным общением с Россией. Герой книги проводит канун Рождества в пестрой компании своих соотечественников, нетерпеливо ожидающих, когда на прилавок ювелирного магазина, где торгуют в основном советскими изделиями, «выбросят» золотишко. Комическая ситуация, гротескные персонажи, карикатурная действительность — и тут же, рядом, авторские отступления, и среди них две самостоятельные новеллы, герои которых — реальные исторические личности, а действие происходит во время антироссийского восстания 1863 года. В первой новелле — едва ли не самом сильном образце прозы Конвицкого (представить который не позволяют тесные журнальные рамки) — описан трагический эпизод короткой жизни юного повстанца Зигмунта Минейко; во второй — октябрьская ночь 1863 года, проведенная одним из повстанческих вождей Ромуальдом Траугутом в небольшом городке на пути в Варшаву, где ему предстоит взять на себя тяжкое и почетное бремя диктатора восстания.

К.С.

Так могло быть: Траугут не спеша спускался по ажурным ступенькам вагона. Не глядя по сторонам, наметанным глазом конспиратора успел заметить, что перрон почти пуст. Возле паровоза стоял начальник станции и о чем-то расспрашивал машиниста. В дверях вокзала, рядом с медным колоколом, сонно покачивался огромный бородатый швейцар. Вдоль поезда неторопливо шагал жандармский патруль: молодой щеголеватый офицер в голубом мундире и два унтер-офицера. Они уже видели Траугута. И он их видел, хотя был занят — проверял свои старенькие карманные часы по станционным.

Поставив саквояж на гравий перрона, он лениво огляделся в поисках носильщика. Несколько их стояло за зеленым заборчиком, отделявшим вокзальную территорию от обсаженной молодыми липами улицы. Но ни один не спешил на помощь одинокому путешественнику. Они тоже ждали.

Траугут аккуратно спрятал часы в жилетный карманчик. И тут патруль остановился в двух шагах от него. Офицер вежливо козырнул, фельдфебели красными от холода руками придерживали длинные сабли в кожаных ножнах.

— Можно попросить ваш паспорт? — сказал офицер.

— Конечно, пожалуйста, — Траугут протянул сложенный вчетверо большой лист бумаги.

Жандарм внимательно читал документ, со сдержанным любопытством поглядывая на приезжего. Вокзальный швейцар ударил в колокол и крикнул что-то по-русски с волжским акцентом.

— Фамилия? — спросил офицер, не отрывая глаз от бумаги.

— Чарнецкий.

— Так. А имя?

— Михал.

— Купец? По делам?

— Да, по делу. На один день.

— Остановитесь, я полагаю, в «Европейской»?

— Если получу номер.

— Надеюсь, получите. Желаю приятно провести время, — снова козырнув, офицер вернул документ.

Тогда только подбежал носильщик в большом дерюжном фартуке. Наверняка старовер, плечистый, заросший до глаз бородой, хмуро улыбающийся мужик.

— Есть у вас тут дрожки? — по-польски спросил Траугут.

— Сколько угодно, — по-русски пробасил носильщик. — Дрожek у нас сколько хошь, ваша милость.

— Тогда веди.

Они пошли к выходу, провожаемые незаметным взглядом жандармского офицера. В золотистом воздухе летали спутанные паутинки. Траугут приостановился и посмотрел на затянутое дымкой небо — небо, которого он уже много месяцев не видел.

Резво подъехала пролетка. Носильщик поставил саквояж в ноги молодому еще извозчику. Траугут торопливо протер концом шарфа запотевшие очки, сел в шаткий экипаж. Извозчик на секунду обернулся и пристально посмотрел ему в глаза. Но Траугут не послал извозчику ответного взгляда, хотя сразу заметил у него на спине пришитый вверх ногами порядковый номер, что в некоторых губерниях было знаком принадлежности к тайной организации.

— В «Европейскую», — сказал он, глядя в глубь извилистой улицы, вымощенной красноватым булыжником.

— Я город хорошо знаю, — извозчик хлестнул вожжами по гладким бокам вороной лошади. — Если чего помочь...

— Спасибо. Я сюда на один день.

Извозчик снова обернулся, на этот раз с испытующей улыбкой.

— Может, с весьма красивыми дамами желаете познакомиться? Я знаю адреса. Тут можно неплохо поразвлечься. Из Лодзи, даже из самой Варшавы приезжают купцы и офицеры.

Траугут избегал его взгляда. Сощурил глаза под очками, потому что из глубины улицы налетел ледяной ветер, гоня перед собой облако кровавых листьев.

— У меня времени нет, дружок. Как-нибудь в другой раз.

Извозчик отстал. Занялся ленивой лошастью, которая, задрав хвост, принялась сыпать зеленовато-коричневыми яблоками. Город притаился, насторожась, в последних лучах предзакатного осеннего солнца. Прохожие торопливо шагали, не кланяясь друг другу, городовые на перекрестках терли заочеченные руки, только в окнах можно было разглядеть прячущиеся за занавесками лица людей, которые ждали — много месяцев ждали с отчаянием и надеждой.

Внезапно улица оживилась. По мостовой скакал на коне офицер с саблей наголо.

— Разойдись! Разойдись! — пронзительно кричал он.

Извозчик мигом съехал в канаву и остановил лошадь. Мимо с шумом промчалась вооруженная кавалькада: полсотни казаков, окруживших открытый экипаж, в котором на черном стеганом сиденье развалился генерал в орденах, а рядом с ним — словно аршин проглотил — сидел молодой офицер, видимо, адъютант.

— Губернатор, — сообщил извозчик. Потом осторожно добавил: — Суров.

— Да, вижу, — равнодушно произнес Траугут.

Опять стало тихо. Из подворотен высыпали попрятавшиеся там люди. Где-то во дворе завел свою протяжную песню, расхваливая товар, лоточник. Северный ветер дул все сильнее. Траугут решил поднять синий бархатный воротник пальто.

Пролетка снова остановилась. Извозчик показал кнутовищем на смутно виднеющийся сквер над рекой, где в предвечернем свете маячили три высоких надломленных столба.

— Губернатор у нас суров, — повторил он.

Теперь только Траугут разглядел под столбами три темных, закручиваемых ветром мешка. Это были виселицы. Три виселицы будто три креста.

— Ну, приехали, — сказал извозчик.

Траугут очнулся.

— Сколько с меня?

— Сколько не жалко, сударь.

Входя в гостиницу, он еще увидел, что извозчик не уезжает, а смотрит ему вслед, словно ждет чего-то. Потом к пролетке подошел человек в фуражке, с минуту они с извозчиком о чем-то поговорили, наконец тот, в фуражке, вскочил на подножку, и пролетка на рысях двинулась обратно на вокзал.

— Шпик или из повстанцев? — сам себя спросил Траугут.

В вестибюле гостиницы сновали туда-сюда офицеры в походном обмундировании. Одни бегом поднимались по лестнице в номера или, одетые, сбегали вниз, другие присаживались на краешек вытертых кожаных кресел, словно — по обычаю — перед дальней дорогой. Невысокий лысый бородач за стойкой вопросительно посмотрел на Траугута.

— Мне нужна хорошая комната на одну ночь.

Лысый бородач снисходительно усмехнулся.

— Самые лучшие номера разобрали господа офицеры. Тоже на одну ночь.

Траугут зашелестел радужным бумажным рублем.

— Надеюсь, голубчик, ты меня не подведешь. Я уже назначил здесь встречу, дело деликатное, сам понимаешь.

— Я все понимаю, — ответил лысый, пряча рубль в рукав. — Может, и найдется для вашей милости кое-что подходящее. Только попрошу паспорт, по нынешним временам без паспорта никак нельзя, — и подмигнул клиенту двусмысленно, но при этом весело.

Порылся в книге, почему-то удивленно вскинув кустистые брови, снова улыбнулся еще двусмысленнее, щелкнул пальцами и наконец протянул ключ, утяжеленный дубовой грушей.

— Насчет дамы доложить или сразу впускать? — спросил, понизив голос.

— Впускай сразу — жалко время терять.

— Что верно, то верно, — загоготал бородач. — Время сейчас такое — каждая минута дорога. Винцентий, возьми у его милости багаж.

Седой слуга молча окинул Траугута неприязненным взглядом, взял саквояж и, ни слова не сказав, стал подниматься на второй этаж.

Молча открыл дверь номера, молча взял чаевые и молча направился к выходу, но Траугут жестом остановил его на пороге.

— Шампанское у вас хорошее?

Винцентий пожал плечами.

— Хорошее. Такое же как везде.

— Отчего ты такой нелюбезный?

— А с чего любезным быть? Сами должны понимать.

— Что понимать, голубчик?

— Что гоже, а что негоже.

Траугут на минуту задумался, стоя с пальто в руках. В водосточной трубе за стеной вдруг взвыл ветер, голое дерево наклонилось и заглянуло в окно.

— Ну ладно. Вели поставить бутылку шампанского на лед, если у вас есть лед.

— Есть, почему нет, — буркнул Винцентий и вышел, закрыв дверь чуть громче, чем следовало бы.

Траугут подошел к большому зеркалу, стоящему в углу. В мутном почерневшем стекле увидел свое отражение: невысокий худой мужчина в очках в проволочной оправе. Вдохнул словно бы разочарованно и пригладил темные волосы над торчащими ушами. Ветер рванул окно, тихонько задребезжали скверно укрепленные стекла. В соседней комнате кто-то ходил большими шагами по скрипучему полу.

Траугут подошел к окну, отодвинул грязную липкую занавеску и вздрогнул, как давеча, в пролетке. Поверх хилого голого дерева он увидел тот же сквер, полоску реки и белые столбы виселиц. Лысый расстарался, дал хорошую комнату с фасада.

Траугут плотно задернул занавеску и выглянул в коридор.

— Винцентий!

— Чего? — отозвался простуженный голос снизу.

— Принеси огня.

В соседнем номере разговаривали несколько мужчин. Траугут с минуту прислушивался к их невнятным голосам, прежде чем распознал, что это русские. Невольно подошел к окну и еще раз осторожно отдернул занавеску. На улице темнело. Деревья, терзаемые ураганным осенним ветром, в истерике били поклоны, черные редкие тучи летели на юг как огромные хищные птицы. Но виселицы уже поглотила тьма. Сквер таял во мраке, видны были только очертания клумб с засохшими цветами преждевременной осени.

Скрипнула дверь. Винцентий внес два луженых подсвечника, на которых метались робкие огоньки. Поставил один подсвечник на стол, второй — на шаткую этажерку, припорошенную пылью. Вышел и снова вернулся с мокрым ведерком, из которого торчало горлышко зеленоватой бутылки.

— Что у вас на ужин? — спросил Траугут.

— А что пожелаете? Можно телячьи отбивные.

— Давай.

Винцентий остановился у двери, протяжно вздохнул.

— Хочешь что-то сказать?

— Нет. Ничего.

Еще раз вздохнул и вышел из комнаты, а огоньки встрепенулись, потревоженные невидимым сквозняком. Траугут достал часы, глянул на циферблат, потом попробовал ключиком завести механизм, но оказалось, что часы заведены до упора. Тогда он спрятал их и подошел к саквяжу. Открыл его, вынул флакон с большой стеклянной пробкой, плеснул на ладонь немного прозрачной жидкости, натер шею, виски, руки. Хотел подойти к зеркалу, но передумал, махнув рукой, и заодно понюхал эту сильно пахнущую руку. У соседей зазвенела посуда. Там тоже готовились к ужину.

Потом он сел на кровать, застеленную вылинявшим покрывалом, и стал ждать. Перемогал бесконечно длинные секунды и минуты. За стеной забренчали струны гитары. Какая-то муха, не успевшая помереть при первых заморозках, нудно жужжала под потолком с почерневшей гипсовой лепниной. Траугут вставал, будто собравшись спешно куда-то идти, но тут же снова садился, потирая костлявые руки. Время тянулось немилосердно.

Наконец он услышал тихий стук. Вскочил, одним резким движением распахнул дверь. Она стояла в темноте, но он сразу узнал эти зеленоватые, сверкающие, будто кошачьи, глаза и вздернутый носик.

Он втащил ее в комнату, захлопнул дверь. Они упали друг к другу в объятия и долго стояли так, собираясь с мыслями.

— Ну что, панна Костюшко? Как жизнь, как все?

Она высвободилась, подняла тонкую вуаль. Улыбалась — робко, смущенно.

— Может быть, сядем, — сказал Траугут, сдерживая дрожь рук. — На этом стуле тебе будет удобней. Или на кровати.

— Нет, здесь хорошо, — она быстро села на плетеный стул, руки спрятала в меховую муфту.

— Сам не знаю, с чего начать, Тоня. Что дома, как дети?

— Дома по-старому. Дети растут. Мы о тебе тревожимся. Так давно не было известий.

— Теперь все будет хорошо.

— Как хорошо? Почему ты не возвращаешься домой?

— Война, Тоня. Я не могу вернуться.

Они впились друг в друга глазами, будто увиделись впервые. Она смотрела на его первые седые волосы и на очки, в которых горели две крохотные свечки, на его трогательную неказистость, он разглядывал ее молодое разрумянившееся от холода лицо, ее вздернутый носик — эту реликвию, унаследованную от двоюродного деда, — и полные губы, которые были ее личным достоянием.

Отворилась дверь, вошел Винцентий с ужином. Поставил поднос на стол, покосился укоризненно на Тонию и вышел, закрыв дверь чуть громче, чем следовало бы.

— Может, выпьем сперва шампанского? — спросил Траугут.

— Как хочешь, — шепнула она.

Выстрелила пробка, и по случайному совпадению за стеной раздался взрыв смеха.

— Тебе ничто не грозит?

— Как всем, — он поднял бокал. — Знаешь, за что я пью?

— Знаю.

Они неловко отпили по глотку — очень уж неподходящей была эта гостиница, эти крики за стеной и это шампанское. Где-то в городе громыхнул далекий выстрел, тотчас же заглушенный внезапным воем ветра.

Траугут встал, подошел к женщине. Неуклюже обнял, задев вуаль, которая снова скрыла ее лицо.

— Ну что, Тоня, ну что?

— Стесняет меня эта гостиница.

— Меня тоже. Но что поделаешь. Может быть, снимешь пальто?

Она послушно встала, отдала теплое, пахнущее вереском пальтишко. В ладони у нее сверкнуло что-то темным пламенем. Она перехватила его взгляд.

— Дай руку, — сказала.

Высыпала горстку маленьких теплых каштанов.

— Из Островья, — добавила. — Куда ты едешь?

— В Варшаву. Может быть, ты голодна? Отбивные стынут.

— Мне не хочется есть.

— Мне тоже. Давай сядем на кровать. Говорить надо шепотом.

Они устроились на высокой постели, опершись спиной на огромные, пахнущие утюгом подушки. За стеной кто-то брал на гитаре низкие меланхолические аккорды.

— Зачем ты едешь в Варшаву?

— Возглавить Национальное правительство.

— Почему именно ты?

— Почему именно я? Должно быть, такова воля Провидения.

Огоньки свечей сонно колыхались в темноте, точно язычки пламени в лампадах на могиле. Гостиница жила вечерней хмельной жизнью. Кто-то пробежал по коридору, кто-то кричал снизу, кто-то нетерпеливо молотил в дверь. В этот шум иногда врвался зловещий, полный трагической решимости голос ветра недоброй осени.

— Говорят, восстание умирает, — шепнула она.

— Положение тяжелое. Но Польша ведь не умрет.

— Да был ли смысл восставать против такой силищи?

— И это ты говоришь, панна Костюшко?

— Именно я это говорю.

— Не знаю, был ли смысл. Знаю, что иначе было нельзя.

— Предательство вождей, глупые политики, разброд в обществе и везде полчища шпионов. Мне иногда приходит в голову страшная мысль, будто восстание еще тлеет только потому, что его поддерживают провокаторы охранки.

Траугут молчал. Они слышали собственное дыхание да гомон в соседнем номере. Снова отозвалась гитара. Усердный аккомпанемент убыстрялся, призывая вступить человеческий голос. Наконец несмелый хрипловатый тенор начал:

— Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, послушный им народ...

Траугут поискал маленькую горячую руку женщины.

— Да, есть уйма оснований подозревать, что в патриотическое движение проникло множество агентов и провокаторов. Возможно, стерлась граница между акцией стихийной и спровоцированной, между поступком благородным и низким. Так что же: спрятаться за пассивную подозрительность, оправдывать пагубное бездействие благоразумием?

— Народ должен выжить.

— А кто отличит выживание от агонии?

— Я понимаю, дорогой, понимаю. Но сердце кровью обливается, когда я что ни день вижу кибитки, увозящие молодежь в Сибирь, когда смотрю на виселицы с телами страдальцев.

— Боюсь, иного пути нет, Тоня. Нет иного пути, если мы не хотим оподлиться, измельчать и умереть, презираемые другими народами.

За стеной несколько голосов уже смелее подхватили:

— Быть может, за хребтом Кавказа

Укроюсь от твоих пашей.

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Тоня слушала, наморщив лоб в венке светлых волос. Сжала тоненькими пальцами руку мужа.

— Они поют запрещенные стихи? — шепнула.

— Им все можно. Сегодня поют, завтра будут вешать.

— Ты не устал? Такой далекий был путь...

— Мне сейчас нельзя уставать. На меня ложится страшная ответственность.

— Я чувствую, ты дрожишь?

— Это от холода. Я забыл сказать, чтоб истопили печь.

— Укроемся периной. Но сперва погаси свечи.

Он задул оба огонька и трясущимися руками стал снимать одежду возле плетеного стула. Краем глаза он видел тень Тони, возившейся с платьем. Слышал хрусткий шелест нижних юбок. Из черноты постепенно выступал мертвенный призрак окна.

Босиком по ледяному полу он подбежал к высокой кровати. Тоня ждала, откинув угол влажной перины. Они укрылись с головой и собственным дыханием стали согревать свое убежище.

— Помнишь еще меня, Тоня?

— А ты меня помнишь?

— Всегда помню. Каждую ночь. И каждый день.

— Ты забыл снять очки.

— Забыл.

Он высунулся из горячего гнезда и ощупью положил очки на пол.

— Ох, и натерпелась же я стыда, когда входила одна в гостиницу.

— Мне тоже стыдно принимать в номере молодую даму.

Он робко положил руку на ее прикрытую тонкой сорочкой грудь. Она напряженно ждала. Сухими губами он поцеловал кудрявую прядку около горячего уха. Но в эту минуту кто-то постучал в дверь.

— Ты не запер? — встревоженно шепнула она.

— Не запер.

Выскочил из кровати, набросил на плечи пальто и открыл дверь. В коридоре стоял Винцентий с фонарем в руке.

— Пан Чарнецкий, я пришел предупредить. В полиции задержали ваш паспорт, — тихо сказал старик без прежней враждебности.

— Проверить получше хотят, но бумаги у меня чистые, купеческие. Завтра вернут.

— Если захотите уехать тайком, я могу пособить.

— Спасибо на добром слове. Мне незачем убегать. Нет нужды.

— Как знаете. Но в случае чего — я внизу.

Старик пристально всматривался Траугуту в глаза, видно, желая прочесть там правду. Из соседнего номера кто-то выбежал и стремглав помчался вниз по лестнице.

— Ну что ж, спокойной ночи.

— Спасибо, — сказал Траугут, поворачивая ключ в замке.

Вернулся в кровать, Тоня ждала, вытянувшись, напрягшись, скрестив на груди руки.

— Океан самоотверженности. И этому уготовано истребление... — прошептал он и поднял руку к виску, чтобы снять очки, но очки лежали на полу, смутно отражая сероватый прямоугольник окна.

Тогда она повернулась к нему, прильнула вдруг, пряча лицо в изломе плеча. Он хотел ее обнять, но в тесноте жаркого укрывища сорочка задралась, и он вдруг ощутил под рукой молодое пульсирующее тело. На него накатила сладкая паника, дрожащими губами он стал торопливо целовать горячую кожу, шершавость затвердевших сосков, влагу пахнущего травами пота. Она крепко обняла его тонкими руками за шею, спрятала под веками блеск глаз и ждала, затаив дыхание. А он с каким-то странным, отчаянным, чуть ли не звериным стоном врывался в нее вслепую и, врываясь, уже слышал в себе страшный гул крови, и, едва ворвался в судорожно сжавшееся, обжигающее тепло, его вдруг охватил великий покой, никогда прежде неведомый.

Опять стало слышно жужжание этой упрямой мухи под потолком. Тоня лежала не шевелясь в напрасном ожидании. Смотрела в потолок широко раскрытыми глазами, в которых метались крошечные тени сотрясаемых ветром деревьев за окном.

— У меня давно не было женщины, — с отчаянием прошептал он наконец.

— У тебя давно не было меня, генерал, — и она улыбнулась, повернув к нему голову.

Он принялся целовать ее горячие влажные губы, вдруг совершенно утративший желание, а она, чувствуя это, возвращала ему поцелуи со снисходительной сдержанностью.

— Прости, — хотел прошептать он, но она не позволила, закрыв ему рот ладонью.

— У нас впереди целая ночь.

— Да, целая ночь.

— А потом ты уедешь в Варшаву.

— Да, Тоня, уеду.

— Но почему ты, почему ты, а не кто-то другой?

— Это мой долг, — он хотел было добавить: мужской, — но не стал.

За стеной раздался дикий, нечеловеческий крик и кто-то пустился впрыска; вторя топоту, мелко затряслась бамбуковая этажерка.

— Ты понимаешь, что едешь на верную смерть? — спросила вдруг Тоня.

— Я, как всякий человек, не хотел бы умереть прежде времени, — прошептал он, подумав.

— Если выступишь на посту до конца, погибнешь.

— Кто-то должен умирать...

— ...Чтобы другие могли жить, — язвительно dokonчила Тоня.

— Кто я, Тоня? Безымянный человек. Не отличающийся ни красотой, ни особыми способностями, ничего не значащий для большинства. Я просто частица этого народа. И самому мне себя не жаль.

У соседей со звоном разбилось стекло. Кто-то выл на невидимую луну.

— Не дадут уснуть.

— Тоня, кто мне дал право беречь свою жизнь? Чем она отличается от любой другой?

— А я? А твои дети?

— Не знаю, дал ли я тебе счастье. И дал ли что-нибудь вообще. Я чувствую себя мошенником.

Теперь она его поцеловала. Он видел перед собой ее затененное ночным мраком лицо — точно на темной русской иконе.

— Глупый ты у меня, генерал.

За стеной ломали мебель. Кто-то бился головой об стол под аккомпанемент хриплого смеха. Траугут молча поднялся с кровати и прямо на исподнее стал надевать пальто.

— Брось. Ни к чему обращать на себя внимание, — отозвалась Тоня.

— Мы не выдержим до утра. Они только начинают.

Он вышел в коридор и постучался в соседнюю дверь. Никто не открывал — в пьяном гомоне стука никто не услышал. Он нажал на ручку, дверь подалась: перед ним была большая комната, полная офицеров в расстегнутых мундирах. В глаза бросился голубой мундир жандармского офицера — того самого, что на вокзале проверял у него документы. Заметили его не сразу. Поочередно умолкали, переводя взгляд на открытую дверь. Наконец стало тихо, только в углу размеренно капала из разбитой посуды вода.

— Прошу прощения, господа, но моей жене нездоровится. Если можно, потише, а то она никак не уснет.

Из-за стола поднялся молодой капитан, и Траугут с ужасом узнал саперский мундир со знаками полка, в котором он сам не так давно служил.

— Это мы просим прощения, пан... — сказал, щелкнув каблуками, капитан.

— Чарнецкий, — поклонился Траугут.

— Покорнейше просим вашу супругу и вас, пан Чарнецкий, извинить нас, право слово, за этот кавардак, — он с трудом сохранял вертикальное положение. — Не судите строго, право слово, уж так получилось, это наш, право слово, холостяцкий прощальный вечер. Завтра в поход, пан Чарнецкий, и завтра в эту пору, право слово, половины из нас может уже не быть в живых.

— Я понимаю, и тем не менее...

— И я понимаю, пан Чарнецкий, мы, офицеры его величества...

— Прекрати, Алеша, — отозвался жандарм, глядя на дно высокого бокала.

— Тихо, ша, — капитан качнулся в сторону гостя. — Желаем мадам Чарнецкой доброй ночи, право слово.

Траугут вернулся в свой номер. Снимая пальто, сказал негромко:

— Они тоже боятся смерти.

Залез под перину, согретую Тониным телом.

— Полиция отдаст тебе завтра паспорт?

— Думаешь, судьба меня помилует? Думаешь, завтра меня схватят и сошлют в Сибирь вместо того, чтобы повесить через месяц или через год. Нет, завтра мне отдадут паспорт, и я поеду в Варшаву и возглавлю

несуществующее государство.

— Ты говоришь это с горечью?

— Я говорю как есть. Так на роду написано.

В соседнем номере было тихо. Только скрипнет время от времени половица или кто-нибудь обронит слово погромче. Ветер носился поверху, колотясь о старые щелявые крыши.

— А у нас в Литве, верно, уже зима. Видишь, как здесь с погодой. Пройдет дождь, пролетит ветер, вот и все. Ты спишь, Тоня?

Но тут заметил, что она снова устремила неподвижный взгляд в потолок. Быстро привлек ее к себе.

— Я так тебя люблю, Тоня. Стольким тебе обязан.

— Чем ты мне можешь быть обязан?

Он отыскал край сорочки, обхватил ладонями, точно сноп свежего жита, молодые бедра, начал жадно целовать быстро пульсирующую шею — гибкую, пахнущую забытым домом, далеким Островьем, утраченной беззаботностью. Ему показалось, будто возвращается желание, он подмял ее под себя, а она, полная унижительного ожидания, поддавалась с застенчивой покорностью; он безумно старался удержать это желание, он пробуждал в себе нежную силу, он сдавил трясущимися пальцами ее груди — она даже застонала от боли, — и придавил ее собою, и так замер, ибо мимолетное желание уже растворилось в сонной вялости, в тупой отрешенности. Он лежал на ней и отчаянно пытался собрать разбегающиеся мысли. За окном слышалось сочное цоканье копыт по булыжной мостовой. Казацкий патруль пролетел из темноту в темноту.

— У меня рука занемела, — пожаловалась Тоня.

Он понимал, что она пытается придать обыденность происходящему. С благодарностью поцеловал ее еще раз и откинулся на огромную подушку рядом.

— Плохое время для любовных свиданий, — шепнула она. — Но, может быть, все обойдется, и ты вернешься в Литву.

— Хотелось бы надеяться, Тоня, но могу и не вернуться.

Она отгородилась от него худенькой спиной. Долго лежала так, и Траугут подумал, что, наверно, она уснула. Но кудрявая прядка над горячим ухом дрожала едва заметной дрожью, как птичье перышко.

— Панна Костюшко, ты плачешь? — спросил он со сжавшимся сердцем.

— Да нет, ничего, — шепнула она, пряча лицо в подушку. — Бабам нужно иногда пореветь.

На улице кто-то заорал благим маттом:

— Караул! Караул!

Залились полицейские свистки, какие-то люди забегали туда-сюда мимо гостиницы. Тоня села, укрывшись уголком перины.

— Слышишь?

— Тоня, война еще не кончилась.

— Да, гонятся за каким-то человеком. Неизвестным.

— Свободу всегда добывали неизвестные. Чтоб не умирала память, чтобы не угасал дух, сохраняли имена провозглашенных героями, но кандалы разгрызал собственными зубами во всякую пору, в каждую — добрую или худую — минуту, в любой момент вращения земли безымянный человек.

— Смотри, светает, — тихо сказала Тоня.

Окно помалу серело, и ветер стихал, словно бы в ожидании дня, очередного короткого осеннего дня этого зловещего года.

— Надо встать и пойти навстречу смерти, — шепнул себе Траугут.

Она хотела спросить у мужа, что он сказал, но, охваченная внезапным страшным предчувствием, не стала спрашивать и замерла, робко протянув руку к лицу, на котором отпечатался след проволочной оправы очков: так могло быть.

«Пристрастно» цитируя Конвицкого, просто невозможно обойтись без «Польского комплекса», в котором русская нота звучит, пожалуй, громче, чем в других его романах. Впервые «Комплекс» вышел в 1977 г. в «Записе» — подпольном журнале, «посвященном проблемам интеллектуальной и художественной свободы во всем мире и публикующем произведения писателей, преследуемых цензурой в своих странах»; о публикации в государственном издательстве тогда нечего было и думать, ведь речь шла о польских комплексах, рожденных почти двухсотлетним тесным общением с Россией. Герой книги проводит канун Рождества в пестрой компании своих соотечественников, нетерпеливо ожидающих, когда на прилавок ювелирного магазина, где торгуют в основном советскими изделиями, «выбросят» золотишко. Комическая ситуация, гротескные персонажи, карикатурная действительность — и тут же, рядом, авторские отступления, и среди них две самостоятельные новеллы, герои которых — реальные исторические личности, а действие происходит во время антироссийского восстания 1863 года. В первой новелле — едва ли не самом сильном образце прозы Конвицкого (представить который не позволяют тесные журнальные рамки) — описан трагический эпизод короткой жизни юного повстанца Зигмунта Минейко; во второй — октябрьская ночь 1863 года, проведенная одним из повстанческих вождей Ромуальдом Траугутом в небольшом городке на пути в Варшаву, где ему предстоит взять на себя тяжкое и почетное бремя диктатора восстания.

К.С.

3: ПОДАЙ РУКУ КОЗАКОВ!

«Это не вопрос веры. Чтобы наши кости могли лежать рядом, должно вымереть мое поколение, а может, и следующее», — говорил мне десять лет назад в одной деревне Жешувского воеводства старый украинец. Сам он был тогда уже почти при смерти, свалившись от туберкулеза. Этими словами Волычко (я запомнил его фамилию) отвечал мне, в то время молодому репортеру журнала «Впрост», который все еще был способен «удивляться миру», на вопрос: почему поляки и украинцы в деревне, насчитывающей сто домов, лежат на двух разных кладбищах, почему не могут уместиться на одном? По прочтении книги «Украина, Польша, мир» замечательного украинского публициста Богдана Осадчука (1920 г.р.), неустанного исследователя Восточной Европы, я осмеливаюсь утверждать, что, может быть, не понадобится десятилетий, чтобы смогли лечь по соседству бренные останки представителей столь близких и вместе с тем отдаленных народов.

Почему я говорю об «отдаленных народах»? Потому что нас по-прежнему разделяют ложные стереотипы, выборочно воспринимаемая история и несведенные счета. Недавно я услышал в эфире радиостанции, пользующейся популярностью на берегах Вислы, признание известного ведущего: желая, вероятно, развлечь слушателей, он сказал, что когда ему «особенно тяжело на душе», то он утешается мыслью, что ему «не выпало родиться и жить, например, на Украине». Стоп, господин журналист. Прежде чем с таким легкомыслием ассоциировать с Украиной все дурное и болезненное, примите во внимание хотя бы факты. А факты таковы: в 2000 г. эту «например, Украину» ожидает прирост ВВП свыше 5%, промышленное производство возросло там на 12%, в приватизированных отраслях, которых на Украине становится все больше, динамика роста достигла 35%, рост реальной зарплаты — 10%, внутренняя задолженность страны понизилась на 2 млрд. долларов. Европейская комиссия признала это государство «страной с рыночной экономикой». Разумеется, молодому, чрезвычайно амбициозному и динамичному премьер-министру Украины Виктору Ющенко предстоит одолеть еще немалый путь до нормальной экономики и хотя бы скромных жизненных стандартов, какими сегодня может похвалиться и самая бедная страна Европейского союза. Но не забудем, что и нам, «тигру Центральной Европы», в последнее время, пожалуй, несколько захромавшему, тоже еще далеко до выполнения брюссельских требований. Гордясь иногда перед гражданами Западной Европы тем, что у нас «гастарбайтеры — украинцы», не забудем, что для многих из нас еще недавно пределом мечтаний была немецкая виза и «левая» работа за несколько марок в час. Так что давайте относиться без высокомерия к нашим восточным соседям и воспринимать факты с большей долей смирения. А главное, не надо стремиться любой ценой «нести цивилизацию» — на наш манер и с катехизисом в руках — «дикому Востоку», чем отличается «Польская община» во главе с господами Гжесковяковой и Стельмаховским, достигая результатов, прямо противоположных задуманному.

Но настоящее, к счастью, можно изменить — изменить прошлое, к сожалению, нельзя. Мое поколение, те, кому сегодня под сорок,росло, читая «Зарево в Бещадах» или смотря по телевидению «Сержанта артиллерии Каленя». Мне, тогда подростку, врезалась в память сцена с участием благородных, героических польских солдат, которых губили бандиты-бандеровцы на минном поле. Предполагаю, что она еще долго определяла бы мои представления о польско-украинских отношениях середины 40 х (потому что хотя бы о бесславной «Акции Висла» ученикам школ в ПНР особо не рассказывали), если б, уже пробуя силы в журналистке, я не встретился с одним, ныне давно покойным генералом, начинавшим офицерскую карьеру еще в довоенной Польше. Этот генерал (из жалости не назову его) долго с пафосом рассказывал мне о «рыцарственности и чести польского воина», а потом вдруг — кажется, после третьей порции виски — крайне сентиментально принялся вспоминать, как он «со своими парнями, с уланами, въехали в украинскую деревню и головы сукиных сынов падали под саблями, как маковки». «Сукиных сынов», т.е. украинских мужчин, женщин, детей и стариков.

Глубокоуважаемый читатель «Новой Польши»! Я вполне умышленно не пишу о «стратегическом партнерстве» Третьей Речи Посполитой и с недавнего времени свободной Украины, о котором не устают напоминать политики, ибо декларации политиков — не самое главное. Зато я вполне умышленно обращаюсь к свободным ассоциациям, эпизодам, мифам и всему, чем когда-то кормили мое поколение, как только раздавался пароль «Украина». В конце концов, к реальным отношениям между народами количество рукопожатий Кучмы и Квасневского имеет весьма малое отношение. В сто раз важнее, как в ближайшее время почувствует себя поляк во Львове, на кладбище «Львовских орлят», или как будет обращаться с украинцем на границе польский таможенник. Пусть вместе с вышеупомянутым престарелым Волицко скончаются и предубеждения. В совершении этого труда, действительно заслуживающего памяти в веках, труда, которому столько энергии и решимости посвятил Ежи Гедройц, может помочь книга Богдана Осадчука «Украина, Польша, мир».

В ней не найти всеохватного образа, чудесного универсального рецепта — это всего лишь избранные статьи и репортажи «восточноевропейца». Всего лишь — а в то же время как это много. Осадчук, который мог бы быть моим дедом, говорит со мной совершенно внятно, почти с юношеским жаром и надеждой. С надеждой, если воспользоваться громкими словами, на укладку моста между былыми и новыми временами, между поколением, отравленным памятью о пролитой крови, и теми, кто без эмоций пожелает — здесь и сейчас — попытаться убедить своих отцов и детей в чем-то весьма рациональном. «Без Украины европейский дом не будет вполне устойчивым», — сказал недавно на страницах «Впрост» премьер-министр Ющенко. Вопрос, который, как мне кажется, задает Осадчук и который, пожалуй, по-прежнему остается без ответа, можно сформулировать так: станем ли мы в этом будущем европейском доме относиться к нашим соседям-украинцам как к бедным родственникам — по случаю одаряя их красивыми фразами, — или же гостеприимно встретим их как друзей?

Автор — заместитель главного редактора еженедельного журнала «Впрост»